

ИЛЬЯ ИЛЬИЧ ОБЛОМОВ: ГРАНИ РОМАННОГО ОБРАЗА (К 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова)

© 2012 г. В. А. Недзвецкий

Видя в главном герое знаменитого романа образ в той же мере общечеловеческий, как и национально русский, автор статьи выявляет в произведении тот фольклорный, архетипический и мифологический контекст, благодаря которому Обломов, нисколько не утрачивая своей социально-бытовой определенности, обретает художественный смысл непреходящий и вечный.

Perceiving in the title character of the novel features, which are common to all mankind, as well as specifically Russian qualities, the author of this article draws attention to the folkloristic, archetypal, and mythological levels of context, in which Oblomov's figure – still as large as life – gets bestowed with certain artistic meaning that transcends transient particularities.

Ключевые слова: широта художественного обобщения, свойства русского человека, былинно-сказочные ассоциации, литературные параллели, мифологические реминисценции.

Key words: vast artistic generalization, typical features of a Russian, bylina-and-tale associations, literary parallels, mythological reminiscences.

Отличительной особенностью романа “Обломов” стала редкая даже для классической русской прозы широта образного контекста или, говоря иначе, *смысловых граней*, отличающих то или иное действующее лицо, место действия, значимые сюжетные моменты, пространственно-временные характеристики и самые судьбы героев произведения. В качестве подлинно художественного произведения гончаровский роман подобен планете, где есть своя земля, свое небо, свое подземелье, свой космос, и обитатели которой одновременно представляют столько же от своей эпохи и России, сколько и от человеческой природы в ее извечных устремлениях и коллизиях. Такое впечатление от романа достигается органическим сочетанием при изображении его персонажей и обстоятельств их *социально-бытовых* определений с *общенациональными*, а также *архетипными* с *мифопоэтическими*. Эта принципиально важная особенность центрального звена гончаровской романной “трилогии” (в значительной мере и ее общей *поэтики*) с особенной рельефностью проявляется в заглавном лице произведения.

У читателей романа не возникает ни малейшей неясности относительно социально-сословного происхождения и положения, занятий и материально-имущественных обстоятельств Ильи Ильича. “Обломов, – сообщает нам повествователь (часть первая, гл. V) – дворянин родом, коллежский секретарь чином...”, “по смерти отца и матери <...> стал единственным обладателем трехсот пятидесяти душ” крепостных крестьян и с того момента “вместо пяти получал уже от семи

до десяти тысяч рублей ассигнациями дохода...” [1, с. 46]¹. “Барин” по *социальному* статусу сознает себя и сам Илья Ильич, способный в этом качестве обдумывать в “плане” своего обновленного имени “новую меру, построже, против лени и бродяжничества крестьян” и обидеться на Захара, сравнившего его с “другими”, т.е. людьми, самостоятельно добывающими свой хлеб. Или заметить Штольцу, что “грамотность вредна мужику” (“выучи его, так он, пожалуй, и пахать не станет...”), а из дворянских детей не следует “делать мастеровых” (с. 61, 132, 139). Вместе с тем мы узнаем, что Обломов – барин патриархальный и добрый, умеющий и посочувствовать своим беглым крестьянам (“И куда это они ушли, эти мужики? – думал он <...> – Поди, чай, ночью ушли, по сырости, без хлеба. Где же они уснут?”), и искренно возмутиться предложением Тарантьева отправить Захара в “смирительный дом” (“Да, вот этого еще недоставало: старика в смирительный дом!”) (с. 76, 45). Без особых усилий можно догадаться (это убедительно обосновала Л.С. Гейро), что в Московском университете Обломов учился “на юридическом факультете” [2, с. 657]. В течение всей первой части романа он снимает квартиру на Гороховой улице Петербурга, где «жили люди “средних классов”» [2, с. 650].

Весьма точен Гончаров и при указании иных топографических и хронологических реалий Петербурга, связанных с заглавным героем про-

¹ Последующие ссылки на это издание даются в тексте в круглых скобках, с указанием страницы.

изведения. Так, *первого мая*, когда начинается действие романа, визитеры Ильи Ильича зовут его в Екатерингоф. Там, в “загородном парке на западной стороне Петербурга”, действительно, «бывали гулянья, собиравшие столько людей, что, по словам современника, “...в свете первая столица / На мая первое число / Пуста, как в жатвы день село...”» [2, с. 650–651]. А на Неве с началом зимы то снимали, то наводили Литейный мост на плашкоутах, соединявший центр города с Выборгской стороной, где вдали от Ольги Ильинской с осени проживал Обломов.

Социально-бытовая грань персонажей и событий “Обломова”, прочно увязывая их с современной Гончарову российской действительностью, призвана придать им плоть и кровь, создающих у читателя иллюзию не вымысла, а живой истории. Тому же служит и последняя глава романа, где в качестве приятеля Штольца появляется “литератор, полный, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами” (с. 380), в котором современники легко узнавали самого автора произведения. Однако в ряду всех образных определений “Обломова” эта грань не только не единственная, но и далеко не основная. Ведь в противном случае знаменитый гончаровский роман в лучшем случае оказался бы собранием лишь узкосоциальных, по слову писателя, “местных” и “частных” российских типов и “картиной *внешних* условий жизни”, а не драматической повестью о “самом человеке” в его “неисчерпаемой глубине и неизменных основах <...>, которые всегда будут интересовать людей – и никогда не устареют” [3, т. 8, с. 443]. Путь к такому изображению современников лежал через обнажение в их характерах и поведении посредством художественного *домысла* и *обобщения* граней общечеловеческих и непреходящих.

Результатом “огромной силы художественного обобщения” явился прежде всего сам заглавный герой “Обломова” – тип *всероссийский*, а, по мнению Вл. Соловьева, своей широтой и превосходящий типические характеры других русских классиков. “В сравнении с Обломовым, – писал философ, – и Фамусовы, и Молчалины, Онегин и Печорин, Маниловы и Собакевичи, не говоря уже о героях Островского, все имеют *специальное* значение” [4, с. 191]. В год 25-летия со дня смерти романиста близкую к соловьевской оценку образа Обломова дал В.В. Розанов: «Нельзя о русском человеке упомянуть, не припомнив Обломова <...>. Та “русская суть”, которая называется русскою душою, русскою стихиею <...>, получила под пером Гончарова одно из величайших осознаний себя, обрисований себя, столкновений себя, размышлений о себе...» [5, с. 5].

Установка на общенациональный смысл образа Ильи Ильича входила в прямое художественное задание Гончарова после коренного изменения первоначального замысла романа. “...Я, – признавался писатель, – инстинктивно чувствовал, что в эту фигуру вбираются мало-помалу элементарные свойства русского человека...” [3, т. 8, с. 106]. Речь шла, однако, не только об обломовской “лени и апатии во всей ее широте и закоренелости как стихийной русской черте” [3, т. 8, с. 115]. Во внутреннем монологе Обломова, обеспокоенного необходимостью переезда на другую квартиру (часть 1, гл. VIII), романист не случайно подчеркивает следующие самоутешения-надежды героя: “А *может быть*, еще Захар постарается так уладить, что и вовсе не нужно будет переезжать, *авось* обойдутся <...>: ну, *как-нибудь* да сделают!” (с. 76). «Выделенные Гончаровым слова, – напоминает Л. Гейро, – имеют глубокие корни как в фольклоре, так и в литературных традициях. Ср<авни> приведенную у В.И. Даля пословицу: “Русский-де человек на трех сваях стоит: авось, небось да как-нибудь” <...>. Широкое хождение в списках имело стихотворение И.М. Долгорукого (1798) “Авось”: “О, слово милое, простое! / Тебя в стихах я воспою! / Слово ты русское прямое. / Тебя всем сердцем я люблю!” <...>. В примечаниях к стихотворению П.А. Вяземского “Сравнение Петербурга с Москвой” (1811) <...> С.А. Рейсер, имея в виду строки: “У вас авось – / России ось – / Крутит, вертит, / А кучер спит”, – замечает: “Авось – старинное русское слово (XVI в.), которое постепенно приобрело свойство идиомы, характеризующей национальные качества русского человека, – они зафиксированы в ряде соответствующих пословиц и поговорок”. “Наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великий русский авось”, – писал В.О. Ключевский в “Курсе русской истории” <...>. Слово “авось” <...> неоднократно упоминалось в таком контексте в ряде стихотворений Вяземского, Языкова, Пушкина, Некрасова и др.» [2, с. 659].

Илья Ильич сближен в романе как с комическими (Иванушка-дурачок, Емеля-дурак), так и с героическими (Еруслан Лазаревич, Илья Муромец) персонажами русского фольклора, что бросает на него не однозначный, а амбивалентный (с одновременно противоположными качествами) свет. “Вглядитесь попристальнее в Обломова, – писал Н. Ахшарумов, – и вы увидите, что он недалеко ушел от Емели-дурачка. Правда, он гораздо старше его во всех отношениях и потому гораздо более развит, но, в сущности так же *прост* и *безобиден*, как и тот, и наделен такими же простыми желаниями. <...> И точно, что нужно Емеле или дру-

гому герою наших сказок для полного счастья? Меду и молока вволю, красную шапку да красные сапоги, возможность совершать все отправления жизни, не слезая с теплой печи, да сверх того красивую бабу. Обломов больше развит, и потому идеал его гораздо сложнее; но если внимательно сверить его с идеалом Емели, то едва ли окажется какое-нибудь различие” [6, с. 147].

“Он, – сказано об Илье Ильиче в романе, – любит вообразить себя каким-нибудь непобедимым полководцем, перед которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значат...” (с. 54). Комментируя это замечание повествователя, Л. Гейро приводит запись Лермонтова, сделанную им в альбом В.Ф. Одоевского о герое “Сказки о Еруслане Лазаревиче”: “...Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году проснулся от тяжкого сна и встал, и пошел, и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их, и сел над ними царствовать... Такова Россия” [2, с. 658]. “Из этого высказывания видно, – отмечает исследователь названной сказки Л.Н. Пушкарев, – что образ Еруслана впитал в себя черты богатыря вообще (и особенно Илья Муромца)...” [2, с. 658]. Действительно, соименник Обломова Илья Муромец также “сиднем сидел цело тридцать лет”, не владея ни руками, ни ногами (былина “Исцеление Ильи Муромца”), но, враз исцелившись, стал богатырствовать во славу земли русской. Перспектива если не героических подвигов, то устройства “нормальной жизни” вопреки наличным искажениям ее идеала (с. 138) открывалась с любовью к Ольге Ильинской и для Ильи Ильича, также бездействующим в начале романа вплоть до тридцати двух–тридцати трех лет. Иное дело, смог ли гончаровский герой, человек, по отзыву Ольги, добрый, умный, нежный, благородный, воспользоваться этой перспективой, подав тем самым благой пример для окружающих людей. Впрочем, определенное доброе дело он все-таки совершил, когда, отринув суетное существование Волковых-Судьбинских-Пенкиных и поселившись в доме Пшеницыной, пробудил любовь и с ней живую душу своей “хозяйки”.

В качестве общерусского *комического* лица робкий и нерешительный Илья Ильич представлен не названной в романе прямо, но ассоциативно ощущаемой читателем параллелью с аналогичным героем гоголевской “Женитьбы” (1842): пришедший в ужас от слов Захара, что “свадьба – обыкновенное дело”, Обломов, “сбежавший” от Ольги за Неву, на Выборгскую сторону, напоминает Подколесина [7, с. 123].

Тип “племенной”, “захватывающий в себе черты, свойственные русским людям, безотносительно к тому, к какому они принадлежат сословию и званию” [8, с. 147], Илья Ильич одновременно есть и характер всечеловеческий. Эта грань Обломова создается в итоге его сопоставлений с “вечными” (архетипичными) образами литературы, затем легендарно-историческими лицами, а также различными мифологическими персонажами. В ряду первых наиболее значимы параллели с шекспировским Гамлетом и сервантесовским Дон Кихотом.

Альтернатива “Теперь или никогда!”, “Идти вперед или остаться” в прежнем апатическом состоянии встала перед Обломовым второй части романа, иронически констатирует повествователь, “глубже гамлетовского” вопроса “быть или не быть” (с. 146, 147). Но гамлетовское начало Ильи Ильича имеет не только комический оттенок. Если долгое бездействие Гамлета объяснялось прежде всего его разочарованием в окружающем мире и нравах королевского двора, то и Обломов видит в существовании Волковых–Судьбинских–Пенкиных–Алексеевых и Тарантьевых, представляющих современный ему Петербург, лишь “искажение нормы, идеала жизни, который указала природа целью человеку” (“Где же тут человек. Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?” (с. 138, 137). Тем самым он получал известное объективное оправдание своей инертности, своего духовного сна.

С Дон Кихотом Илью Ильича роднит начало “в высшей степени идеалиста”, “ищущего правды, встречающего ложь на каждом шагу, обманывающегося и, наконец, окончательно охлаждающегося и впадающего в апатию от сознания слабости своей и чужой, то есть *вообще человеческой природы*” [3, т. 8, с. 313]. Конечно, в отличие от героя Сервантеса, действительно “всю жизнь борющегося” за идеалы справедливости, как бы анахронично он ни понимал современную ему испанскую действительность, Обломов после первых столкновений с российской реальностью его века стремится только лично изолироваться от нее то в квартире на Гороховой, то на Выборгской окраине Петербурга. Тем не менее и этот факт не мешает Гончарову в конце романа отдать ему должное в итоговой характеристике, явно перекликающейся с приведенными выше словами писателя о жизненной участи идеально настроенного человека: “Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности” (с. 362). При одновременной сопоставленности Ильи Ильича с трагическим Гамлетом и комическим Дон Кихо-

том комизм в его образе окрашивался трагизмом и наоборот, что, по убеждению Гончарова, отвечало глубинной правде человеческого существования. Ведь “природа, судьба, все требуют идеала или, лучше сказать, все ставит нам идеал, но и природа и судьба делают также и уступки, ибо принята во внимание слабость человека, его хрупкость, крайнее несовершенство” [3, т. 8, с. 319).

Из лиц легендарных и собственно исторических образу Обломова “сопутствуют” вавилонский царь Бальтазар (Валтасар), ветхозаветный полководец Иисус Навин, древнегреческие философы Диоген Синопский и Платон.

В пятой главе второй части романа Илье Ильичу стало сниться слово *обломовщина*, “написанное огнем на стенах, как Бальтазару на пиру” (с. 146). Имеется в виду слова “Мени – такел – фарес” (исчислено, взвешено, разделено), внезапно появившиеся, согласно библейскому преданию, на стенах чертога, где пировал вавилонский царь Валтасар, и предвещавшие гибель его царства. Пророчество сбылось в тот же день, когда при всеобщем опьянении город Вавилон “был оставлен без всякого надзора” и осаждавшие его персы без сопротивления овладели им, – и мыслилось оно Божьим наказанием Валтасару и его вельможам, кощунственно пившим вино “из золотых и серебряных сосудов, похищенных Навуходносором из храма Иерусалимского” [9, с. 106]. В контексте диалога Обломова со Штольцем, где впервые звучит слово *обломовщина*, оно означает и двенадцатилетний петербургский “образ жизни” Ильи Ильича, когда все это время, по словам героя, в нем “был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас” (с. 145). Здесь оно – синоним света духовного, жизни человеческой души и во имя души. Обломов, отдавшийся в этот период своей жизни “обломовщине” как существованию бездуховному, ощущает себя виновным перед своей душой – *божественным* даром человеку – и, вспоминая участь Валтасара-Бальтазара, страшит небесной кары и для себя.

Иисус Навин, согласно Ветхому Завету, “начальник” древнееврейского народа и его успешный полководец, после вступления иудеев в землю обетованную, в особенности прославился чудесным деянием в день битвы под Гаваоном с войском пяти царей ханаанских. Когда победа иудеев была уже близка, день стал клониться к вечеру. И тогда Иисус Навин воскликнул: “Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиной Аялонской”, “и остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим” [9, с. 339].

В “Обломове” имя Иисуса Навина в сопряжении с заглавным героем романа непосредственно названо только однажды во второй части, где Илья Ильич, сожалея, что “и в любви нет покоя, и она <...> все движется куда-то вперед, вперед...”, говорит: «И не родился еще Иисус Навин, который сказал бы ей: “Стой и не движись!”» (с. 207). Однако в подтексте оно присутствует и в тех местах произведения, где возникает мотив *солнца*, то ежедневно “садящегося за чей-то четырехэтажный дом”, то, напротив, ярко и жарко светящего “около полугода” и удаляющегося “не вдруг, точно нехотя”, то снова закрытого “длинным <...>, казенным зданием, мешавшим солнечным лучам весело бить в стекла мирного приюта лени и спокойствия” (с. 54, 80, 376).

Почти полгода непрерывно сияющее солнце – реальность жизненной идиллии обломовцев и мечта Ильи Ильича, в известной мере осуществленная в разгар его “изящной любви” с Ольгой. Нет, остановил солнце на ее время не Обломов, остановила сама природа, как бы поддерживавшая эти надежды влюбленных на счастливую совместную жизнь. Своего рода вечным солнцем Илья Ильич сделался, пусть и без особых личных усилий, для навсегда полюбившей его Агафьи Пшеницыной, чем лишь ассоциативно и косвенно, но все же напомнил благое для его народа деяние древнееврейского полководца (о солярном мотиве в “Обломове” см.: [10, с. 73–83]).

Философ-киник Диоген Синопский соотнесен с героем “Обломова” также только по сходству некоторых общих черт. Диоген, по преданию, жил в бочке (в “Обломове” она помянута в связи с обломовским водовозом с древнегреческим именем Антип), т.е. в весьма замкнутом пространстве; зашторенная квартира Ильи Ильича на Гороховой и его маленькие комнатки в доме Пшеницыной в свою очередь скрывают героя от большого мира. Обломов схож с Диогеном и в проповеди “осознанного возвращения к естественной природе” [11, с. 109]; наконец, в начале второй части романа герой Гончарова (на это впервые указала Е.Ю. Полтавец) своим сонным “образом жизни” провоцирует как бы продолжение древнего диспута между Диогеном и Зеноном об отношении *движения* и *покоя*. Так по крайней мере следует из начальных строк стихотворения Пушкина “Движение” (1825):

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.

Под “мудрецом брадатый”, признававшим физическую реальность только “покоя”, здесь вы-

веден Зенон, под его остроумным оппонентом – Диоген.

В “Обломове” аналогичный спор в указанном месте романа ведут Штольц (он в роли Диогена) и Илья Ильич (он – на позиции Зенона).

“Я два раза, говорит Штольц, – был за границей <...>, потом выучил Европу как свое имение. <...> Я видел Россию вдоль и поперек. Тружусь...

– Когда-нибудь перестанешь же трудиться, – заметил Обломов.

– Никогда не перестану. Для чего?

– Когда удвоишь свои капиталы, – сказал Обломов.

– Когда учетверю их, и тогда не перестану.

– Так из чего же, – заговорил он (Обломов – В.Н.), помолчав, – ты бьешься, если цель твоя не обеспечить себя навсегда и удалиться потом на покой, отдохнуть?... <...>

– Для самого труда, больше ни для чего” (с. 143–145).

“И так всю жизнь! – удивляется Илья Ильич. – <...> Это какая-то кузница, не жизнь; тут вечно пламя, трескотня, жар, шум... когда же пожить?” (с. 147).

Итак, для Штольца движение (труд) – основа и залог человеческой жизни; для Обломова, наоборот, – гибель покоя, следовательно, и жизни.

“Ты философ, Илья, – <...> Все хлопочут, только тебе *ничего не нужно*” (с. 138), – говорит Обломову Штольц, последней репликой обозначая того философа – Платона, – с которым он сравнивает друга. Как показали Л.С. Гейро и М.В. Отрадин, такое сравнение вполне основательно. Это отсылка читателя романа к платоновскому диалогу “Теэтет”, где, по характеристике Вл. Соловьева, Платон называет “истинного философа” “чистым теоретиком”, находящим свою свободу и достоинство в намеренном отчуждении от всего практического, делового, житейского как “рабского” и “унизительного” [2, с. 679]. Различая два главных типа жизни – жизнь “созерцательную” и жизнь “деятельную”, – Платон считал, что “философу пристало только непрерывное созерцание” [12, с. 99]. Как законченный созерцатель, выражающий собой и своим “образом жизни” “идеально покойную сторону человеческого бытия” (с. 368), ведет себя и гончаровский Обломов.

Переходя к мифологическим параллелям, необходимо прежде всего вспомнить небесного покровителя (ангела) Обломова – пророка Илию. Как и другие ветхозаветные пророки, видевшие в себе помазанников Божьих, Илия обличал нечестиво живущих израильских властителей (царей

Ахава, Охозию) и их приспешников, предвещая им неминуемый грозный суд Божий [9, с. 294–295]. И, подобно другим пророкам, непонятый соплеменниками в своем богоугодном деле и ненавидимый ими, не раз был вынужден, “чтобы спасти свою жизнь”, бежать из родных краев в места отдаленные и пустынные [9, с. 295]. В начале романа Илья Ильич, не приемлющий *суетное* существование своих “визитеров”, также выступает по отношению к ним в своеобразной пророческой роли. Но, как и его древний святой покровитель, не находит с их стороны понимания, оправдывая горькую библейскую истину: “Нет места пророку в отечестве своем”. И в конечном счете уединяется на тихой и малолюдной окраине Петербурга.

Христианско-евангельский контекст в обрисовке заглавного героя нуждается в специальном исследовании. Здесь мы ограничимся лишь очевидными текстовыми свидетельствами.

Еще раз приведем итоговую характеристику Ильи Ильича, данную ему романистом устами Штольца, с мнением которого вполне согласна Ольга. Самое ценное в Обломове, считают они, – “то, что в нем дороже всякого ума: *честное*, верное сердце!”, которое он “невредимо пронес <...> сквозь жизнь”: “Ни одной *фальшивой* ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая *нарядная ложь*, и ничто не совлечет на *фальшивый* путь; <...> никогда Обломов не поклонится *идолу лжи*, в *душе* его всегда будет чисто, *светло*, честно... Это *хрустальная*, прозрачная душа; таких людей мало; они *редки*; это перлы в толпе” (с. 362).

Ряд мотивов этого отзыва сближает Илью Ильича с христианскими апостолами и даже самим Иисусом Христом. Так, в качестве и Сына Человеческого Богочеловек обладал воистину прозрачной душой, абсолютно чистым и честным сердцем и не подвластным никакой “нарядной лжи” духом, будь то дьявольские посулы, соблазнившие в земном раю прародителей людей, или те искушения (чудотворством, безмерной властью и вызовом Творцу), которыми князь тьмы искушал Христа в пустыне. Добавим к христианским качествам Обломова подлинно *голубиную* нежность героя (а голубь, по Евангелию, знак Святого Духа, сошедшего на Христа в момент крещения Его. – Мф. 3, 16; Мк. 1, 10; Лк. 3, 22; Ин. 1, 32) и его лишь однажды нарушенное (в сцене пощечины Тарантьеву) непротивление злу насилием.

Если не самому Христу, то смиренному христианину подобен Обломов и в прощальной сцене с Ольгой Ильинской, когда на “жестокое” слово

девушки (“Ты кроток, честен, Илья; ты нежен... как голубь; ты прячешь голову под крыло – и ничего не хочешь больше <...> да я не такая: мне мало этого”) всем своим видом как бы говорил: “Да, я скуден, жалок, нищ... бейте меня, позорьте меня!” (с. 289, 290). По мнению Л. Гейро, слова героя восходят к Откровению святого Иоанна («Ибо ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг») (Откр. 3, 17). Правда, там Иоанн, повторяя горделивые слова Ангела Лаодикийской церкви, призывает его покаяться. В “Обломове” же покаянные слова Ильи Ильича не лишены упрека гордой и в данный момент (спустя минуту она и сама осознает это) действительно немилосердной девушке. Из семи смертных грехов (гордыни, блуда, зависти, чревоугодия, сребролюбия, гневливости, лени) Илья Ильич может быть обвинен только в двух (лености и чревоугодии); из семи основных человеческих пороков (отчаянии, зависти, несправедливости, гнев, непостоянстве, глупости, неверии) – лишь в маловерии. Однако этот порок существенно повлиял на судьбу героя.

По рассказу евангелиста Матфея, Богочеловек особо пенял своим ученикам за их маловерие (Мф. 8, 26; 14, 31; 16, 8), сказав, например, Петру, пошедшему было по воде, дабы подойти к Нему, но испугавшемуся и начавшему тонуть: “Маловерный! Зачем ты усомнился?” Читателю гончаровского романа, конечно, памятли многократные сомнения Обломова в любви к нему Ольги и в возможности их взаимного счастья, а также неверие героя в собственные силы. На обращенные к нему слова Штольца “Человек создан сам устраивать себя и даже менять свою природу... У тебя были крылья, да ты отвязал их”, Илья Ильич “уныло” отвечает: “Где они крылья-то? <...> Я ничего не умею...” (с. 305–306).

Быть может, именно маловерие Обломова прежде всего объясняет двойственную оценку, которую дал ему Достоевский. Сравнивая Илью Ильича с главным героем своего романа “Идиот” Львом Николаевичем Мышкиным, Достоевский заключил: «А мой “Идиот” ведь тоже Обломов. <...> Только мой идиот лучше гончаровского... Гончаровский идиот – мелкий <...>, а мой идиот – благороден, возвышен» [13, с. 252]. Льва Мышкина Достоевский в подготовительных материалах к “Идиоту” именовал “князем Христом” (т.е. князем-Мессией), подчеркивая, что он “только прикоснулся к их (т.е. других действующих лиц произведения. – В.Н.) жизни. <...> Но где только он ни прикоснулся – везде он оставил неисследимую черту» [14, с. 253, 242]. Речь шла, конечно,

о чертах глубоко благотворных. Однако и Илья Ильич, никому не делая зла, оставил светлую память о себе не только в сердцах Ольги Ильинской и Штольца, но и в душе своего верного, хотя и нерадивого Захара (“Этакого барина отнял господь! На радость людям жил, жить бы ему сто лет”, – говорит он в эпилоге романа (с. 382). Что же касается Агафьи Матвеевны, то для нее герой “Обломова” стал воистину жизненным светочем и спасителем, что, разумеется, не отдаляет, а сближает его с подлинными последователями Христа.

И прямо обозначенный романистом, и ассоциативный контекст, формирующий образ Обломова, сделал его характером в той же мере конкретно-историческим, как и вечным, по праву вставшим в один ряд с архетипными фигурами Гамлета, Дон Кихота, Дон Жуана и Фауста. Факт этот, все шире признаваемый в последнее время в России, еще раньше был осознан некоторыми зарубежными исследователями.

“Тайные следы Обломова, отмечал в 1932 г. англичанин Эрнст Рис, – существуют в каждом человеке, где бы он ни находился” [15, с. 6]. “Мы, – спустя тридцать лет вторил ему американец Ф. Рив, – рассматриваем Обломова как символ <...> некоторых наших желаний и части нашего общего, реального состояния” [16, с. 38]. “Самым монументальным героем русской литературы”, “достигающим уровня” Дон Кихота и Фауста, считал Обломова американский славист В.С. Притчетт. По его словам, он живет и в нас, в “английской душе”, о чем свидетельствует «пристрастие к Обломову американской молодежи. Студенты ему завидуют (он так независим, ему “наплевать” на всю житейскую суету сует), студентки в него влюбляются (он прелесть!)» [17, р. 58].

Не исключено, что импульсами к такого рода суждениям послужили высказывания русских эмигрантов первой волны: философа и культуролога В.Н. Ильина, поэта Андрея Кобылянского, поэта и критика Юрия Мандельштама², отметившего, что Гончаров, “углублял вопросы своего времени до их вечной основы, оставшейся неизменной и сейчас”, а его Обломову “мало недостает, чтобы стать мировым типом, в роде Дон Кихота, Лира, Гарпагона” [18].

Думается, сегодня это пронизательное утверждение нашего соотечественника будет верным

² Статьи названных авторов войдут в книгу “И.А. Гончаров. К 200-летию со дня рождения. Сборник документов и материалов”, подготовленную для публикации Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы.

и без содержащейся в нем оговорки. Ибо заглавный герой “Обломова” с тем же правом занимает подобающее ему место среди “коренных общечеловеческих характеров” (Гончаров) мировой литературы, с каким в одном ряду с Данте, Сервантесом, Шекспиром, Гёте, Байроном, Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Ф. Достоевским и Л. Толстым пребывает и сам создатель этого на редкость крупного образа.

Его неординарный художественный масштаб (“монументальность”), в своей основе определенный описанным выше фольклорным, архетипическим и мифопоэтическим контекстом, приумножен и глубоким *противоречием* Ильи Ильича, заданным уже его фамилией. Ошибочно, вслед за В. Мельником, П. Тиргеном, производить ее от существительного “обломок”: ведь тогда и герой романа звался бы не Обломовым, а *Обломковым*, а это не одно и то же. Скорее всего ее источником стали две иных, при этом несхожих лексемы – **об-лый** в значении *круглый, округлый, кругловатый* [19, с. 598] и – **облом** (ср. с однокоренными **надлом, излом**) как то, “что не цело, что обломано” [19, с. 593]. Понятие *округлости* издревле ассоциировалось с представлением о чем-то полном, совершенном и гармоничном, каковыми, например, Платону виделись шароподобная мировая сфера и “сферический человек”. В литературном творчестве эти ассоциации использовались художниками и нового времени, в частности, Львом Толстым при создании в “Войне и мире” образа Платона Каратаева, явленного «с его “круглыми” движениями, “круглыми” головой и фигурой, “круглыми” глазами и улыбкой, “круглыми” морщинами» «своего рода персонификацией идеала гармонически развившегося “первобытного” шара человеческой личности» [20, с. 102].

Нечто подобное находим и в портрете Обломова. Это человек “среднего роста, приятной наружности”, с господствующим выражением *мягкости* “не только лица, а всей души”, открытой и откровенной. Мягкостью и “не лишённую своего рода грации ленью” проникнуты его движения. Любящий “простор и приволье”, он облачен в мягкий, гибкий и “весьма поместительный” халат, ноги покоит в “мягких и широких туфлях”, что дает основание Штольцу сравнить его с мягким “комом теста” (с. 7–8, 134).

Вместе с тем в обломовской округлости, как в хлебном тесте, не ставшем благодатным караваем, одновременно осязательны и некая коренная неполнота, незавершенность, чреватые для гончаровского героя не гармонией, а пагубной односторонностью. В самом деле: Обломову три-

дцать два или тридцать три года от роду, но у него “слишком изнеженное для мужчины тело”, он “обрюзг не по летам”, лежание в постели или на диване превратил в свое “нормальное состояние”, а настигаемый угрызениями совести, спасается от душевной тревоги не действенным преодолением ее причин, но новым погружением в апатию или дремоту (с. 7–8).

Назвав роман противоречиво-двойственной по ее смыслу фамилией главного героя, Гончаров тем самым первым же словом произведения наметил один из его главенствующих мотивов. Это мотив *разлада* и “внутренней борьбы” как в душе центрального героя, так и между существованием Обломова и тем “прямым <...> назначением человека”, указанным ему его божественной природой (с. 138, 78), которое разделяется автором романа и по меньшей мере предчувствуется самим Ильей Ильичем.

В первой части произведения Обломов, ушедший от *суетного* существования Волковых-Пенкиных, однако, желает *покоя* вообще от практических забот, треволнений и обязанностей жизни. Хотя и в эту пору ему время от времени являлось “живое и ясное представление о человеческой судьбе и *назначении*” и поэтому становилось “грустно и больно за свою <...> остановку в росте нравственных сил...” (с. 130–131, 77). В период “поэмы изящной любви” к Ольге Ильинской (вторая и третья части романа) у героя в известной мере возобладала духовно и душевно активная часть его природного существа. После разрыва с Ольгой и последующего пребывания в доме Агафьи Пшеницыной в душе и сознании Ильи Ильича, а также в его повседневном быте выработается и воплотится, отвечая прямо противоположной потребности его натуры, понимание *самой жизни* как “идеально *покойной* стороны человеческого бытия”: “Другим, думал он, выпало на долю выражать ее тревожные стороны, двигать созидательными и разрушающими силами: у всякого свое назначение” (с. 368. Курсив наш. – В.Н.).

Чрезвычайно показательно, что, фиксируя и эту жизненную формулу (жизнь как полный духовный и материальный покой) своего героя, Гончаров тут же назвал его не олицетворением русского барства или некоего стереотипного россиянина, а “обломовским Платоном”. То есть, романист снова обратился к основному средству своей поэтики – общенациональным и всемирным, относительно близким и весьма далеким, очевидным и скрытым, но всегда многообразным подобиям, параллелям, ассоциациям и аллюзиям,

способствующим раскрытию сути изображаемого характера. Той же “методике” Гончаров будет верен и в создании пространственно-временных образов (“локусов”) романа. Но это – уже особая тема.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гончаров И.А.* “Обломов”. Литературные памятники. М.: Наука, 1987.
2. *Гейро Л.С.* Примечания к основному тексту “Обломова” // *Гончаров И.А.* “Обломов”. Литературные памятники. М.: Наука, 1987.
3. *Гончаров И.А.* Собрание сочинений. В 8 т. М., 1977–1980.
4. *Соловьев Вл.* Собрание сочинений. Т. III. СПб., 1912.
5. *Розанов В.В.* К 25-летию кончины И.А. Гончарова // Новое время, 1916, 15 сент. № 14558.
6. *Ахиарумов Н.Д.* Роман И.А. Гончарова “Обломов” // Роман И.А. Гончарова “Обломов” в русской критике. Л., 1991.
7. *Отрадин В.М.* К вопросу о своеобразии эпической объективности в романе И.А. Гончарова “Обломов” // И.А. Гончаров. Материалы юбилейной гончаровской конференции 1987 года. Ульяновск, 1992.
8. *Скабический А.М.* История новейшей русской литературы. СПб., 1909.
9. Библейская энциклопедия. Издание Свято-Троице-Сергиевой лавры, 1990.
10. *Ермолаева Н.Л.* Солярно-лунарные мотивы в контексте романа И.А. Гончарова “Обломов” // И.А. Гончаров. 190 лет. Ульяновск, 2003.
11. Античная культура. Словарь-справочник. М., 1995.
12. *Отрадин В.М.* Проза И.А. Гончарова в литературном контексте. СПб., 1994.
13. Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. В 2 т. Т. 2.
14. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 9. Л., 1974.
15. *Rhys Ernst.* Introduction to “Oblomov” by Goncharov. L., 1932.
16. *Reev F.* Russian Novel. New York, 1966.
17. *Pritchett V.S.* The Living Novel. Later Appreciation. New York, 1964. P. 58.
18. *Мандельштам Юрий.* Гончаров-критик // Газета “Возрождение” (Берлин), 6 января 1939 г.
19. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1981.
20. *Купреянова Е.Н.* Публицистика Л.Н. Толстого начала 60-х годов // Яснополянский сборник. Тула, 1955.